

В. П.
СВЕНЦИЦКИЙ

Сочинения



Валентин Павлович Свенцицкий
Венок на могилу Льва Толстого

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2372005

Содержание

Куда уехал Лев Толстой?[1]	4
Смерть и бессмертие[4]	10
Бог посетил народ Свой[8]	19
В Ясной Поляне[12]	24
От кого «бежал» Лев Толстой[17]	38
Лев Толстой (К годовщине смерти)[20]	45
Победа над миром[24]	51
Венок на могилу Толстого[29]	54
Лев Толстой и Вл. Соловьёв[33]	57
Правда любви[39]	62

Валентин Павлович Свенцицкий Венок на могилу Льва Толстого

Куда уехал Лев Толстой?¹

«Лев Толстой 28 октября велел заложить лошадей и вместе с доктором Маковецким уехал в Шокино, откуда по железной дороге отправился на юг. В оставленной на имя жены записке Толстой пишет, что его тяготит обстановка жизни, просит не делать попыток отыскивать его, трогательно прощается с своим семейством и говорит, что как чистый христианин он должен жить в мире и ни в каком случае не вернётся. Местопребывание Толстого неизвестно».

Куда уехал Толстой? И от *чего* он уехал?

Толстой уехал, убежал прочь от той *лжи*, которая мучила его, начиная с того дня, когда он допустил в основу своей «новой жизни» компромисс, слабость, уступку, отравляющую каждый день, каждый час долгие годы его религиозной проповеди.

¹ Печатается по: Новая Земля. 1910. № 9. С. 2–3. Подпись: Далёкий Друг.

Об этой лжи или говорили злобно, и потому несправедливо, или молчали вовсе. Молчали, одни из рабского «благоговения» перед великим человеком, другие – из целомудренного, бережного отношения к его греху.

Теперь об этой лжи можно и должно сказать открыто.

Толстой провозгласил учение, в корне отрицающее все основы нашей современной жизни: собственность, деньги, суд, насилие, войска, власть, войны и пр. и пр. и пр.

Исповедание на деле, а не на словах этого учения логически несовместимо с прежней формой не только семейной, но просто сколько-нибудь «культурной» жизни. Но, уступая семье, привычке, подчиняясь слабости, жалости и другим «человеческим» чувствам, Толстой захотел сохранить всё по-прежнему. В результате «реформа» могла коснуться только одежды и обуви, и начался длинный ряд мучительных компромиссов. То, что делалось по-«толстовски», или не доделывалось, или касалось мелочей: в результате получилась паутина, которая связывала Льва Толстого крепче железных цепей.

Так, Толстой отказался от собственности. Но это был странный отказ. Он не был проведён *до конца*, со всей *искренностью*, с безусловной *последовательностью*. Ведь собственность, которую человек перестаёт считать *своей*, в тот же момент перестаёт быть *его* собственностью. И потому ясно, что Толстой, отказывавшийся от своего имущества потому, что перестал его считать своим, не мог *передавать* его,

ибо акт *передачи* есть уже действие *собственника*. Но вещь, которая для него была уже *не его*, передана быть не могла. Вещь «чужую» не передают.

Толстой остался жить в имении своей жены. Правда, он пахал, шил сапоги, рубил дрова. Но он ездил на велосипеде и по железной дороге и пр. и пр. А это всё требовало денег, и ему приходилось пользоваться тем же имуществом, которое он передал жене. Он жил в маленькой комнате, но лакеи подавали ему кашу в серебряных мисках. Одна ложь тянула за собой другую, один компромисс порождал другой – и в конце концов нельзя было разобрать, где кончается ложь и начинается правда.

«Известный толстовец» Бирюков² на втором томе своей биографии Толстого сделал неприличнейшее посвящение графине Софье Андреевне Толстой. Он сравнивает её с солнцем и посвящает ей книгу, в благодарность за то, что она заботливо охраняла Толстого.

Между тем именно она была главной виновницей той лжи, в которой задыхался Толстой.

Вместо того, чтобы поддержать его на новом пути жизни и помочь жить по-новому, она, пользуясь нерешительностью, слабостью и недостатком сил у Толстого для коренной и окончательной ломки, – вынудила его вступить на путь компромиссов.

² *Бирюков* Павел Иванович (1860–1931) – публицист; друг и биограф Л. Н. Толстого.

Толстой прежде всего бежал от этой семейной лжи. Лжи своего покоя, уютной жизни, довольства, сытого и мирного существования.

Но не от этого только.

В «Письме о вегетарианской любви» я говорю о разнице между Толстым и толстовством. И теперь утверждаю это с удвоенной силой:

Толстой бежал от *толстовства*.

Он бежал от своих «кардиналов», от этих господ, расхаживающих босиком в своих дворянских имениях. Они усвоили из всей его великой жизни только одну телесную сторону компромиссов. Лишённые его сердца, его гения, его жажды правды и его живой души, – они отразили образ Толстого в кривом зеркале, и получилась страшная карикатура.

Толстой с ужасом бежал от этой карикатуры на самого себя.

Куда же бежал Толстой? Куда бы ни бежал он: в Курск, Киев, Харьков – это безразлично: он бежал от *пустых слов* – к *живой жизни*. От лжи – к правде. От смерти – к воскресению.

Может быть, жизнь его выльется в такие формы, которым мы сочувствовать не будем. Но во всяком случае – это уже будет *действие*, не слова, а *дела*. Тут целый переворот. Тут человек перешагнул через бездонную пропасть, ибо слово и дело у Толстого были отделены друг от друга бездонной пропастью лжи и подделок.

Толстой во всяком случае начинает *новую жизнь*. Новая жизнь его является прежде всего *великим творческим актом человеческого духа*, и если вспомнить, что свершает этот акт восьмидесятидвухлетний старец – пред ним хочется преклониться с благоговением. Легко судить и бросать в человека грязью: и правы были те, кто ждал это делать – хотя жизнь Толстого давала сколько угодно материала для того, чтобы в него бросать камнями.

Пока жизнь человеческая не кончилась, никто не вправе выносить над ней своего обвинительного приговора в окончательной форме

Когда Толстой в статье «Не могу молчать» писал, что я больше так жить не могу и *не буду*, – то «не буду» многим показалось «фразой», и в этом числе мне³

Но очевидно, Толстой имел право сказать так.

Громадное большинство людей живут «без перемен» не потому, что они находят твёрдый, не колеблющийся фунда-

³ Свенцицкий имел основания для скепсиса, поскольку публично произнёс: «Я не могу молчать» (зачин «Открытого обращения верующего к Православной Церкви») на 2,5 года раньше Л. Н. Толстого и делами доказал, что это была не фраза. За напечатанную в журнале «Полярная звезда» (1906. № 8. С. 561–564) статью, призывавшую прекратить братоубийство, обуздать месть властей предержавших и наложить епитимию на чиновников-руководителей совершаемых злодейств, Свенцицкий был обвинён по ст. 128 Уголовного уложения в «дерзостном неуважении к власти». В речи на суде 4 ноября 1906 подтвердил свою позицию, отстаивал право не повиноваться государственным законам, раз они идут вразрез с заветами Христа, умолял Церковь снять с солдат присягу, понуждающую их расстреливать даже родного отца, и был оправдан присяжными заседателями.

мент, а потому, что они «устают искать» и «засыпают» на первом попавшемся «сухом месте». Толстой велик прежде всего этой неусыпной жаждой совершенства.

И если его отъезд есть начало такой жизнедеятельности, которую мы по существу будем считать ошибочной, – всё же «бегство Толстого» будет великим делом уже по одному тому, что этим фактом он с новой пророческой силой провозглашает истину, что начинать новую жизнь никогда не поздно. Ибо для духа человеческого нет ни времён, ни сроков.

Смерть и бессмертие⁴

Весть о смерти Льва Толстого застала меня далеко от Москвы, далеко от той «культурной» атмосферы, в которой невольно подчиняешься общему *тону*, заражаешься теми привычными «общеобязательными» формами «сочувствия», в которые выливаются «культурные» переживания в событиях, подобных смерти Толстого.

И может быть, потому именно эта смерть дала лично мне столько очищающего, нового, о чём нельзя и не нужно говорить...

Но было нечто во всём пережитом таком, что касается одной из величайших проблем человеческого духа, и говорить о нём хочется особенно потому, что я не знаю, чем можно более достойно почтить намять Толстого, как не размышлением об этих вопросах.

Я говорю о *бессмертии*.

Отъезд Толстого из Ясной Поляны, посещение Оптинской пустыни, болезнь и смерть его – обо всём этом каждый день читалось в газетах и в нашей, здешней глуши.

Но кругом не было нервной, в существе своём лживой столичной сутолоки. И всё, что пробуждали события в душе, оставалось как бы с глазу на глаз, лицом к лицу с твоей со-

⁴ Печатается по: Новая Земля. 1910. № 10. С. 8–11. Подпись: Далёкий Друг.

вестью.

И странно, что внешние впечатления, которые в нездоровой атмосфере столичных «улиц» только искажают и рассеивают подлинное чувство, – здесь, напротив, каким-то таинственным путём связывались с тем главным, что безраздельно владело душой, – с болезнью Толстого.

Особенно ясно почувствовал я эту связь на берегу Волги.

Мы хотели ехать за Волгу, пошли на берег, к лодке. Было холодно, ветрено. Ехать оказалось невозможным. Сели на брёвна около воды.

Какою странной казалась река: тёмно-серая, холодная, гулкая... У берега большая тёмная баржа, на том берегу песок и чёрный лес. И облака серые, и всё такое свинцовое, тяжёлое...

Я не думал о Толстом. Но всё время чувствовал, что мыслью о нём полна душа. И что холодная чёрная Волга имеет с мыслью о нём какую-то связь. И что, глядя на сердитые, стальные волны, совсем не жутко, не тоскливо. Что в сердце растёт новая, большая радость....

Да, болеет. Да, страдает. Может быть, умрёт. И всё-таки радость. Новая, неожиданная. От которой не то смеяться хочется, не то плакать. Но, во всяком случае, от которой хорошо как никогда...

Ветер дует верховый. Холодный, острый... Злится.

Но теперь всё радуется, и холод, и ветер, – всё.

Рядом со мной сидит племянница, я зову её Вера-

шей-неразумницей. Она всё шалит. И мешает «думать».

А на душе такое счастье.

Это любовь. Маленькая, чуть заметная частица любви. Не к кому-нибудь, а *ко всем*.

Любовь от *него*. От того, кто *там* лежит. И за него *не страшно*. Потому что то, что в нём, – это *настоящее*. Выше всего земного, вечное. Бессмертное...

Вечером «из города» привезли известие:

– Умер.

Пошли узнать по телефону «на завод»: может быть, опять ложный слух. Может быть, ошибка.

Вернулись через полчаса:

– Нет, правда. Умер... Спрашивали по телефону в редакции. Получена телеграмма...

Смерть Толстого произвела впечатление совершенно исключительное. Беспримерное. Здесь речь не о силе впечатления, а о самом его качестве.

В смерти Толстого человечество пережило *ощущение бессмертия*.

Ощущение это до того сложно, до того *ново*, до того всех застало «врасплох», что его долго не в силах будут «осмыслить».

Толстой *умер*.

Но это слово «*умер*» не отдавалось в душе той глупой, тяжёлой болью, которой отдаётся всегда слово «смерть», когда умирают близкие, дорогие люди.

Скорей была почти *радость*. Но радость не «весёлая», а *торжественная*.

Хотелось плакать. И многие *по-настоящему* плакали. Но и слёзы были особенные. Без горечи, без того особого чувства, в основе которого заложено сознание «конца», «бесповоротности». – Умер. Конец. Больше никогда не вернётся. И никто ничем не может это изменить.

Не было этого.

Слёзы, которыми плакали люди в эту ночь, были скорей от восторга, от неосознанного умиления.

Вся сложность переживаний, вся неожиданность их заключалась именно в том, что люди, чудом каким-то, сами того не сознавая, пережили человеческую смерть именно так, как должны переживать всегда: без ужаса, без боли, без отчаяния – как таинственный переход к вечной *жизни*. Поверили душой, а не мозгом, в эту *жизнь*. И умилились, растрогались. «Ожили сами».

Смерть Толстого свершила *чудо*.

Она пробудила в людских сердцах *веру*. Она затронула что-то такое сокровенное, самую основу *бессмертного* нашего духа – и мы на несколько мгновений как бы *сознали* своё бессмертие.

Люди обычно не переживают так смерть потому, что обычно бессмертный дух человеческий слишком заслонён от нас мёртвой оболочкой тления.

Толстой же смертью поднялся на высочайшую ступень ду-

ховной жизни. Он облёкся в красоту *нетленную*. Его *личность* ещё при жизни как бы освободилась от всего суетного, временного, подверженного разложению, уничтожению. Оставалась лишь какая-то неуловимая нить, связывающая его с жизнью земной, видимой, конечной.

Вот почему, когда эта нить оборвалась, как будто бы ничто «не изменилось».

Толстой точно остался *жить*. Ибо он для нас остался всё таким же, как и до болезни в Астапове. Каким он встал перед нами после своего ночного отъезда из Ясной Поляны.

Таким же: бессмертным, духовным, ослепительным...

Когда люди во всех концах мира читали бюллетени о его здоровье, – о том, что температура 38,2, а пульс 120, а дыхание столько-то, – читали каждый день, следили за ходом болезни, за каждым её шагом, – они в это время вместе с Толстым переживали медленный переход от жизни конечной к жизни иной, бессмертной. Оборвалось его дыхание. Перестало биться сердце, бессмертное «я» человеческое перешло к новой, высшей форме бытия, – и *продолжение жизни* было так «очевидно», переход был так *тих*, так незаметен, так мало изменял *по существу* то, что мы называли «Львом Толстым», – что все верующие и неверующие невольно продолжали жить с Толстым и дальше. Не отдавая себе отчёта, как и почему, не облекая своих чувств в сознательное представление, – в сокровенных глубинах сердца все почувствовали вечное бессмертное «*продолжающееся*» бытие Толстого.

Вот источник той особой радости, того умиления, которое пережил за эти дни весь мир.

Толстой был *религиозный гений*. Ему было в величайшей степени дано это ощущение иного мира⁵. Недаром сам он рассказывал, как до реальности ясно ощущал Божество и мог простаивать в лесу часами, отдаваясь этому ощущению.

Но Толстой был ещё и *гениальный художник*, и потому он сумел *рассказать* об этом другим людям. И действительно, читая те сочинения Толстого, в которых он говорит о человеческой душе, как о частице Бога, мировой любви, о том, как со смертью душа снова возвращается к Богу и соединяется с своим первоисточником, – нельзя ему *не верить*. С такой осязательной ясностью, почерпнутой из своего *религиозного* опыта, говорит он обо всём этом.

Но если Толстой как религиозный гений переживал своё бессмертие, если он как гениальный художник рассказал о нём людям, – то смертью своей он заставил их *почувствовать* бессмертие – как *святой человек*.

⁵ Название и отдельные места написанной двумя годами позже статьи В. В. Зеньковского «Проблема бессмертия Л. Н. Толстого» прямо указывают на первоисточник: «По силе его дерзновенного протеста против современной культуры он по праву должен быть назван гением; <...> величайшая заслуга Толстого <...> в его смелой, проникновенной, часто гениальной борьбе за религиозное миропонимание, за религиозное отношение к жизни. Религиозное творчество – вот то главное, в чём расцвел гений Толстого; оно ценнее, важнее, чем всё остальное, что он дал культуре. <...> Самое характерное в духовной личности Толстого то, что он был мистиком» (Л. Н. Толстой: pro et contra. СПб., 2000. С. 500–501).

Вот об этой стороне *личных моих* переживаний мне и хотелось рассказать в своём «письме».

Я глубоко убеждён, что не для меня одного, а для очень и очень многих смерть Толстого будет поворотным моментом в жизни. Началом новой «эпохи»⁶.

Ощущение «бессмертия», хотя бы в течение одного мгновения пережитое, – останется в душе навсегда как краеугольный камень дальнейшей духовной жизни.

Я должен прямо сказать, что, признавая «бессмертие» теоретически и «заставляя» себя путём самоуглубления переживать его в действительности, я никогда *вполне* не переживал его как *факт*.

И пережил это впервые *по-настоящему* только в связи со смертью Толстого.

И пережив, понял, не *теоретически*, а *психологически*, что жизнь «оживает», становится «цельной» и неразрывно связанной с тобой только при условии этого *ощущения* бессмер-

⁶ Ср.: «Эта смерть может явиться началом коренного духовного переворота в сознании общества <...> Именно это новое чувство явится источником нашего духовного обновления. <...> Если смерть Толстого окажется не событием национальной жизни, началом новой ее эпохи, а лишь эпизодом, оживившим столбцы газет и залы собраний, то история скажет о нас, что мы не заслужили быть современниками Толстого и свидетелями его прекрасной смерти» (Франк С. Памяти Льва Толстого // Там же. С. 555).

тия.

Можно теоретически бессмертие отрицать – но *психологически* веру в него носить в своей душе и жить радостной, «одухотворённой» жизнью.

И напротив, теоретически можно его признавать, но не иметь в душе живого чувства бессмертия и тогда ничего, кроме тления и мрака, не видеть в мире.

Ощущение бессмертия реально соединяет душу с вечным, даёт не только сознание своего, но делает это «я» как бы соучастником жизни *всего* целого.

Вот почему то чувство *бессмертия*, которое заставил Толстой пережить человечество своею смертью, было великой *объединяющей* силой.

Почувствовав себя бессмертными, люди почувствовали себя частицами единого *космоса*.

Всё это было для меня так изумительно ясно в тот вечер, когда я узнал о смерти Толстого.

Поздно вечером мы все, обитатели тихого одноэтажного домика, сидели по обыкновению на ступеньках крыльца.

И всё мне казалось новым. Даже на звёздное небо я смотрел с каким-то особенным чувством.

Умер Толстой, и душа теперь снова соединяется с Божеством, пройдя великий путь жизни. И в моей душе есть Бог. И во всех людях. И все мы соединены друг с другом как братья. И с Богом соединены как с нашим Отцом. И со звёздами, и с этой ночью, и с тёмной, холодной Волгой, и с чёрным

лесом, и со всей землёй, и со всем небом, и со всем миром...

Вераша-неразумница больше не шалила.

– Не будьте печальной, – сказал я ей, – надо радоваться.

– А вы радуетесь?

И я невольно ответил:

– Да, радуюсь. Но это радость больше похожа на восторг.

Я радуюсь, потому что чувствую бессмертие...⁷

⁷ Ср. написанное 1 ноября 1910, ещё до смерти Толстого: «Он вплотную подошёл к Престолу Божию, и у него он услышит свой последний суд и едва ли – осуждение. Какие нам, русским людям, среди тяжких, кошмарных будней посылает Бог праздники!» (*Нестеров М. Письма. Л., 1988. С. 241*).

Бог посетил народ Свой⁸

В жизни отдельных людей и в жизни всего человечества бывают великие события, когда внешняя, мёртвая оболочка жизни разом обращается в прах и на несколько мгновений открывается таинственный образ вечности.

Всё, чем люди живы в серые дни пошлой повседневности, всё, чем одурманивают они свою душу, усыпляют совесть, – всё, что кажется им таким большим и нужным и ради чего они с остервенением душат друг друга, – всё это исчезает, как дьявольское наваждение, принимает свой подлинный вид ничтожества и не заслоняет больше собой великого, да-лёкого.

Жажда власти, мечты о славе и «общем признании», самолюбие, жажда внешних почестей, упоение «успехом», мечты о богатстве, о роскошной жизни и наслаждениях плоти, разврат и ложь, пустословие и всяческая подделка, – вся подлость и рабская тупость нашей личной жизни, – а в жизни общественной всё лицемерие деятельности общественной, всех этих ненужных, злых и безбожных общественных учреждений⁹, – уступают место перед лицом великих событий

⁸ Печатается по: Новая Земля. 1910. № 10. С. 3–4. Подпись: В. Свенцицкий.

⁹ «Действительно ненужными суды и войско становятся только для духовно-возрождённых» (*Тареев М.* Цель и смысл жизни. Св. – Троицкая Сергиева Лавра, 1903. Ч. 2. Гл. 4.V).

глубокому сознанию, что подлинная сущность и смысл жизни так необъятно велики, так прекрасны, так возвышают человеческую душу, что стыдно и невозможно становится думать о своих маленьких делах.

И люди, «опомнившись», как бы приходят в себя и ощущают на мгновение своё Божественное призвание. Это Бог посещает народ Свой...¹⁰

Таким великим событием я считаю смерть Льва Николаевича Толстого.

И не самый факт смерти, а всю совокупность событий, предшествовавших и связанных с этой смертью.

Если бы Лев Толстой умер месяц тому назад в Ясной Поляне, сколько бы ни говорилось возвышенных слов, сколько бы ни присылали со всех концов сочувственных телеграмм «семье покойного», сколько бы венков ни «возлагали» на его гроб, сколько бы ни почитали память его вставанием, – *великого события не было бы.*

Ибо не свершилось бы чуда. Не было бы среди нас особого исключительного ощущения близости духа Божия, явно-го для слепых. Несомненного для самых упорных и неверующих.

Смерть Толстого свершилась как *таинство*. И то безотчётное *благоговение*, которое пережил за эти дни весь мир, было не результатом уважения к «великому писателю», а нечто бесконечно большее, не просто человеческое, – это

¹⁰ Ср.: Руфь 1, 6.

было трепетное умиление перед новым великим чудом.

Люди почувствовали близость Божию.

Бог посетил народ Свой.

Долгие годы Толстой нёс свой крест – жил двойственной жизнью. Страдал от явного несоответствия своей проповеди со своею жизнью. Получал бранные и обличительные письма. Мучился сознанием невыполненной «воли Божьей».

И молчал. Ждал. Старился. С каждым годом ближе подходил к смерти и рос духовно. Малоозаметно для людей, для которых уже давно стал «великим» и «законченным». Для которых не жил, а доживал.

Толстой признавал справедливыми упрёки в роскоши, он не мог не знать, как *должен был бы* поступить сообразно со своим учением.

Но он продолжал жить по-прежнему, не «заставлял» себя жить по-иному, сознавая, что, внутренне не подготовив себя к окончательной правде, он не должен менять своей жизни, ибо внешнее соответствие поступка с духом учения будет «надрывом», ложью, подделкой, тем более страшной, чем больше будет в ней сходства с правдой.

И он терпеливо выслушивал упрёки. Жил в роскоши. Страдал. Нёс крест свой. И неустанно работал над собой.

Никто из людей не мог знать этой работы. Только один Господь видит сердце человеческое.

И Бог видел великое сердце Толстого. И не отнимал у него земную жизнь, ибо не свершилось ещё в душе его всё то,

ради чего он был послан в мир.

Лев Толстой неожиданно *для людей* уехал навсегда из Ясной Поляны. Уехал, чтобы остаток дней перед смертью прожить так, как веровал, подчиняясь исключительно «воле Божьей».

Свершилось великое.

Для физических человеческих глаз, для ограниченного человеческого сознания, Толстой уехал из Ясной Поляны, побывал в Оптинской пустыни, на пути в Ростов-на-Дону захворал воспалением лёгких и слёг на станции Астапово.

Для очей духовных, отъездом из Ясной Поляны завершался внутренний рост души Толстого, после чего земная жизнь становилась ненужной, оконченной.

Чудо, о котором я говорю, и *величие* смерти Толстого в том заключается, что до осязательности ясно дали почувствовать людям – сознательно или бессознательно – промысел Божий. Близость духа Божия, непосредственное участие *Его воли* в событиях мира.

Если смерть Толстого не была *предсказана*, то после того, как она совершилась, с покоряющей силой чувствуется её внутренняя *неизбежность*. Её *правда*. И потому – её *красота*.

В смерти Толстого для нас открылся какой-то просвет из тьмы, к ослепительно яркому свету.

Чудо свершилось. Это с большей или меньшей силой чув-

ствуют все¹¹.

Но было бы бессмертно счастье человечества, если бы оно могло событие это и *сознать* как чудо. Великую силу никогда не опускаться в мёртвую, бездушную, греховную жизнь – почерпнуло бы оно в этом сознании, великую силу *жить только для вечности*.

¹¹ Цитировавший статью В. А. Анзимиров назвал эти строки «мягкими, благоухающими» (Московская газета-копейка. 1910. 22 ноября. № 174. С. 3).

В Ясной Поляне¹²

Года четыре тому назад мой друг И. А. Б<еневск>ий¹³, хорошо знавший Толстого и близкий к толстовским кругам, горячо убеждал меня съездить с ним в Ясную Поляну.

Я не поехал.

Побоялся ехать...

Из «любопытства» посещать Толстого для меня было невозможно. Поездка могла иметь только один смысл: встать перед ним лицом к лицу. Совесть к совести. А так как я исповедую другие религиозные и философские взгляды, то это

¹² Печатается по: Новая Земля. 1910. № 11. С. 4–8. Подпись: В. Свенцицкий.

¹³ *Беневский* Иван Аркадьевич (1880–1922) – основатель и руководитель земледельческой общины в Харьковской губ., участник созданного в 1905 Свенцицким и В. Ф. Эрном Христианского братства борьбы, многократный посетитель и корреспондент Л. Н. Толстого, который говорил о «его глубокой религиозности, милой доброте, особенности: придаёт значение крестному знамению» (*Маковицкий Д.* У Толстого. 1904–1910. М., 1979) и 25 июля 1905 отмечал: «Беневский писал <...> во-первых, что Иисус – Бог; второе – что рад, что я молюсь. Я ему ответил: «Если бы Иисус был Бог, то для меня разрушилось бы понятие о Боге. И что хотя я молюсь каждый день, но считаю, что это слабость»» (*Толстой Л.* Полное собр. соч.: В 90 т. Т. 75). Беневский считал, что «обладание землёй как собственностью несогласно с евангельским учением» (Новая Земля. 1912. № 13/14; Жизнь для всех. 1912. № 2. С. 349–351). В 1910 отказался от прав на полученное по наследству имение (ныне – Брянская обл., пос. Дубровка), передал землю второму Немерскому сельскому обществу и организовал на ней толстовскую сельскохозяйственную общину, где работали все члены семьи Беневских; с 1915 там действовала детская колония для детей-сирот.

значило, кроме того, – «исповедывать» свою веру и обличать веру Толстого...

Этого я и боялся.

Меня пугала не «мировая слава» Толстого. Как, мол, он признанный гений, а я никому неизвестный студент. И не преклонение перед ним (я скорее «не признавал» и не любил Толстого), наконец, не самолюбивая «трусость» быть при других разбитым и пристыженным...

Нет. Причины были и глубже, и лучше. Подробно говорить не к чему: скажу только, что вопреки доводам разума и всевозможным благоразумным соображениям – ехать к нему противопоставлять веру его вере было *стыдно*.

И вот теперь, через четыре года, мы ехали с тем же И. А. Б<еневск>им в Ясную Поляну на могилу Льва Николаевича. Всё изменилось:

Прежней «трусости» – нет. Вместо идейно-враждебного отношения – то неожиданное чувство любви, которое без всяких усилий, помимо воли пробудилось к нему в последнее время.

Впереди не каменная усадьба, а небольшой холм земли в зимнем лесу.

После этого, торжественно обвешанного каким-то чудом перехода Льва Николаевича от одной низшей формы бытия, от нашей земной жизни – к другой, высшей форме, нашему познанию недоступной, – ощущение *продолжающейся* его жизни не только не уменьшается, но всё увеличивается.

Бессмертие Толстого – не только «головное признание», это живое, непосредственное ощущение души. И оно не только пробудило радостное *чувство* бессмертия собственного духовного «я», – оно пробудило совершенно новое *чувство*: ощущение нетленности всего мира, всей материи. Толстой *ушёл*, но не *исчез* за этой тёмной чертой, которая зовётся смертью, а это ясное и радостное сознание, что он *там*, и «там» *наверное*, – приблизило к нашим слепым душам мир вечный, хотя и невидимый.

* * *

В вагоне было темно, тесно и душно...

Толкали. Курили. Кашляли. Сморгались...

Но это не раздражало, «не злило».

Да вообще теперь ничто никогда не будет ни раздражать, ни злить.

Раз «там жизнь наверное» – значит, всё, что может жить и раздражать *здесь*, – такое маленькое, ненужное, мелькающее, как кинематограф...

А подо мной, на нижней лавке, говорили о Толстом. И какой смешной и наивный разговор это был. И каким смешным языком.

И почему-то так хорошо и радостно было, что он такой смешной и наивный.

Теперь вообще всё как-то радуется.

Мужик говорит с умилением, что Лев Николаевич поставил себе «памятник и в Туле, и в Москве, и в Петербурге», и что «всем надо заботиться, чтобы оставлять по себе памятники».

– А уж как жил, как жил: ходил, извините, в синих порточках и в рубашке... Всё равно как мужик.

Говорят про то, что миллионы оставил, и всё христианам, и что зелёную палочку, которую закопал он на кургане, не «источил червь», а так и лежит зелёная...¹⁴

И снова:

– Жил так – так и в гроб положили: извините, синие порточки надели, рубашку красную... Как у простого мужика порточки, извините вы меня, и рубашка и больше ничего...

Приехали на станцию Щёкино рано утром. До Ясной Поляны вёрст восемь.

Взяли ямщика на розвальнях, с бубенчиками, он закутал нас овчинным тулупом, и поехали...

А уж непогода какая! Так и мятёт мятель. Прямо в лицо бьёт снежная пыль, с дороги смело почти весь снег, и сани прыгают по шершавой, замёрзшей земле...

¹⁴ Н. Л. Толстой в детстве объявил братьям, «что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми <...> Эта тайна была <...> написана им на зелёной палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я <...> просил в память Николеньки закопать меня. <...> И как я тогда верил, что есть та зелёная палочка, на которой написано то, что должно уничтожить всё зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает» (*Толстой Л. ПСС. Т. 34. С. 386*).

И всё хорошо. И снег, и ветер, и вьюга, и бубенцы, и запах овчинного тулупа, и свежий воздух, и простор, и небо...

Хорошо, потому что «изнутри» хорошо. И теперь уж это навсегда. И никто отнять не может. И странная, радостная мысль приходит: «Пойду на могилу и там скажу ему об этом...»

Вот уже несколько недель мир живёт в атмосфере какого-то чуда. В атмосфере бессмертия, показанного тленному, зарытому в мелочах миру. И стараешься не думать, а отдаваться этому чувству. Потому что от него свободно и радостно на душе, как бывало в редкие, «особенные» минуты в детстве... Когда сам для себя сочинял сказки, превращая все предметы в живые существа. И никто не знал об этом, и вот приводило в восторг, что один ты только видел и знаешь, что стол, лампа и стулья живут и разговаривают между собой.

Так и теперь. Точно во сне или в детстве, всё кругом ожидало. Становилось большим и светлым. И чем дальше, в поле, в вьюгу увозил нас ямщик, тем сильнее было то сказочное чувство жизни...

Живой снег крутился в воздухе, об живую землю стучали полозья саней, живые белые берёзы одна за другой бежали нам навстречу...

А когда мы въехали в яснополянскую аллею, сошли с ямщика, бубенчики перестали звенеть, и тихо зашумели деревья, – казалось, вот сейчас дойдём ещё немного, ещё перейдём какую-то чёрточку и увидим *настоящее*, с глаз рассып-

лется какая-то зелёная завеса, заволакивающая мир туманом.

И вдруг точно по сердцу ударил кто. Грубо толкнул: проснись, мол, эй!..

Перед глазами яснополянский дом...

Тюрьма.

Это не «символ», не «иносказание». Не «так себе», «публицистическая фраза».

Нет – тюрьма. Неуклюжее, тяжёлое двухэтажное белое здание с маленькими некрашеными окнами. И деревья точно отшатнулись от него, отодвинулись. А кругом какая-то пустота. Эта пустота – невидимые стены тюрьмы.

Поскорей прошли мимо. По узкой протоптанной дорожке. В лес, в поле. Это дорога к могиле.

Говорят, по этой дороге Лев Николаевич ходил купаться. А то место, где положили его в землю, – было его любимым местом уединённой молитвы.

Здесь он *жил*. Жил *один*. *Этой* жизни в нём не знали ни родные, ни друзья, никто из людей. Никто, кроме Бога. Это была *молитва*. Самое сокровенное и самое великое, что было в его жизни¹⁵

Над могилой небольшой холм земли, зелёные ветки от

¹⁵ Ср. запись от 24 августа 1906: «Иногда молюсь в неурочное время самым простым образом, говорю: «Господи, помилуй», крещусь рукой, молюсь не мыслью, а одним чувством сознания своей зависимости от Бога. Советовать никому не стану, но для меня это хорошо. Сейчас так вздохнул молитвенно» (*Толстой Л. ПСС. Т. 55. С. 238*).

венков, наполовину занёсенные снегом, – и шумят, шумят дубы, тесно обступившие вокруг могилы.

Толстой молился здесь.

И тысячи людей будут теперь молиться на этом месте.

Странное, на первый взгляд, ощущение охватывает душу – точно один, невидимо встаёт, какой-то таинственный *монастырь*. Скит.

И шум леса, и тишина, и дорога в лес, и встречные люди – всё производит какое-то «монастырское» впечатление.

Когда мы с Б<еневск>им прошли дальше, вглубь леса, мне показалось даже, что я вижу высокую белую стену. Зубчатую стену монастыря. Казалось, что сквозь деревья виднеется дальний холм. Но если бы здесь, действительно, оказалась монастырская стена, – не было бы ничего по существу «удивительного»:

Так это «подходило» бы.

Мне думается, в те далёкие времена, когда умирали великие отшельники и около их могил ещё не было шумных «монастырей», вот так же чувствовалось, что «монастырь незримый», «святой» подымается над могилой.

Особенным, «монастырским», зовущим каким-то шумом шумел лес, по-»монастырски» мягко и тихо падал снег, на всём печать тишины и радости.

И народ, чуткий к таким настроениям, понял уже это сродство великих христианских отшельников с «отлучённым от церкви» Львом Толстым: ямщик сказал И. А. доро-

гой:

– Скоро на святой могиле земли не останется – всю разберут.

«Святая могила», «святой колодец», «святой источник»... И надо всем этим невидимый святой монастырь...

«Монастырское» впечатление от толстовской могилы, неожиданное с первого взгляда, имеет своё, глубокое основание.

Тут дело не во внешних вещах, а в самой *сущности*. И действительно, Толстой и христианские отшельники не есть нечто *противоположное*, а напротив, совершенно однородное *по духу*.

Но Церковь не поняла этого. За «вещами» не увидела *души*.

Если отбросить всё то, что Толстой в Церкви не *признавал*. И ясно представить себе чем он жил, его душевное, внутреннее отношение к Богу, к миру, к жизни. Представить себе не его «учение», а его *психологию*, его переживания, то жизненное «ощущение», которое он носил в своей душе, – словом, уничтожить то, что *разделяло* его с христианством-отшельничеством, – самая духовная основа его «я» окажется ничем не отличающейся от признанных Церковью *святых*.

Восприятие жизни как преходящего сна, постоянное напряжённое углубление в свою душу, дабы познать, что совершается в ней по воле Божьей и что по воле человеческой.

Самоотречение, отдавание своей жизни – Его воле, и это постоянное тяготение *индивидуальной*, религиозной души к тихой, радостной жизни в Боге, среди природы, в лесу, куда не долетает ни шум, ни треск пустой мирской жизни... Всё это делает его братом великих пустынников.

Толстой *своим* путём, но пришёл к тому же, к чему приходили «старцы» «церковные», путём «выработанных» аскетических подвигов.

Для Толстого не существовало «времени», «прогресса», – поэтому не существовало никакого *особого* смысла в мировой истории; для него земная жизнь – случайность, непостижимая и временная, которая скоро кончается, – и хорошо, что скоро кончается, потому что она отрывает человеческую душу от главного источника жизни – от Бога. Жизнь земная – это *тяжёлый* сон, от которого будет так радостно проснуться к *настоящей* жизни.

Вот обо всех этих *мыслях* невольно говорит его могила. И то, что он носил в своей душе – этот невидимый людям *монастырь*, теперь над могилой его воздвигается среди тихого зимнего леса...

* * *

И. А. Б<еневск>ий уговорил меня зайти с ним в яснопо-

лянский дом к Д. П. Маковицкому¹⁶

Очень не хотелось и казалось ненужным.

Но Б<еневск>ий удивительно умеет вытаскивать меня из «одинокства».

И как я ему благодарен, что на этот раз он настоял на своём!

Когда я увидел перед собой Д. П. Маковицкого, ставшего «знаменитым» в качестве спутника ночного бегства Толстого, – я сразу понял всю разницу между тем, что знает о Толстом *мир*, и тем, что знают эти *близкие*.

Как будто вошёл в «келью». И вот кругом, на весь свет шум, толки, «толстовские события»...

А здесь – тихий, безгранично добрый человек, такой простой и чистый, без всякой мишуры и треска, в глазах которого точно отразилось всё то, что видел он за последние дни. И столько было в них любви и ясности, что невольно хотелось плакать от умиления.

Он принёс маленький жестяной чайник. Дал нам чаю. И, весь сияя, совсем по-детски сказал:

– Вот этот чайник мы купили дорогой, у кондуктора, и Лев Николаевич пил из него чай.

Для него не было никакого «Льва Толстого», «великого писателя». Для него был безмерно любимый *человек*, который умер, ушёл, – и о котором он говорит с благоговением и

¹⁶ *Маковицкий* Душан Петрович (1866–1921) – друг Л. Н. Толстого, врач его семьи с 1904.

любовью, как о чём-то неразрывно связанном с своей душой.

Б<еневск>ий, как хороший знакомый Маковицкого, сразу задал несколько интимных вопросов о последних событиях в Ясной Поляне и об отъезде в Шамординский монастырь.

Тяжёлые события. И когда-нибудь о них узнает весь мир и многое, очень многое иначе тогда поймёт в жизни Толстого.

Толстой, по словам Маковицкого, всю дорогу был молчалив. В Оптинской пустыни, у старцев, вопреки рассказам газет, не был.

– Не собирался ли? – спросил я

– По моему *личному* мнению, – осторожно сказал Душан Петрович, – да, собирался...

Не поехал потому, что помешали внешние обстоятельства.

У Маковицкого пробыли не долго. К вечеру мы должны были быть у Черткова.

Душан Петрович попросил нас завезти ремингтон к Александре Львовне – живёт она рядом с усадьбой Черткова, а сам пошёл пешком.

У Александры Львовны ещё сильнее пришлось пережить это удивительное чувство «далёкости» от всяких «событий». Всё, что говорилось в маленькой комнате её маленького домика, как-то по особенному «приближало» Толстого. Мне, при жизни его не знавшего, и то начинало казаться, что вот сейчас он войдёт, рассмеётся, скажет что-нибудь.

Лев Толстой совсем исчезал. Вместо него был «отец», «де-

душка». Говорили, какой он был «худой последнее время», как мучился... Это был любимый, бесценный человек, дух которого ещё жил в этих комнатах.

И когда Александра Львовна рассказывала, как ночью, перед отъездом, он постучал в её дверь. Как она отворила и увидела «отца» со свечой в руках и лицо его точно светилось. И он сказал ей: «Помоги укладывать вещи».

– Во мне всё так и упало.

Когда она говорила это, оживал земной образ Толстого и становился бесконечно близким и любимым.

* * *

Александра Львовна сказала, между прочим, про одного корреспондента:

– Я говорила с ним как с человеком, а он напечатал в газетах, да ещё всё перепутал. С журналистами надо быть осторожной.

И вот теперь я тоже «пишу». А ведь со мной тоже говорили как с человеком. Да ещё как с другом близкого человека Б<еневск>ого.

Но видит Бог, что я пишу не как *журналист*, а как человек. Пишу потому, что мне хочется сказать о своих впечатлениях не «читателям», а людям.

То интимное, что нам рассказывали у Чертковых, и Маковицкий, и у Александры Львовны, – я передавать не могу.

Пусть об этом когда-нибудь скажут они сами так, как найдут это нужным. Но я скажу только, что вся жизнь Толстого после этих рассказов получает совершенно новое освещение.

Буквально весь мир произнёс над последними событиями в Ясной Поляне такой приговор:

Толстой, уехав из Ясной Поляны, совершил великий подвиг, потому что совместил слово своё с делом.

И я теперь вижу, как видят это все близкие и родные Толстого и как увидит когда-нибудь весь мир, что жизнь Толстого в Ясной Поляне была не компромиссом, а величайшим подвигом, была самым глубоким соединением слова и дела.

Люди думали, что Толстой не уходил потому, что привязан к мягкой мебели, и он терпеливо сносил упрёки, – но он не уходил потому, что боялся поступить слишком *эгоистично*, слишком ему *хотелось* уйти, слишком было *легко*.

Не «привязанность к роскоши», «обстановке», к «людям» и «привычной жизни» удерживала его, – а боязнь, что он изберёт слишком *лёгкий выход*.

Уйти из этого ада, в котором ему приходилось жить в своей интимной жизни, – это было слишком для него приятно и просто, и он жил, надеясь, что добро победит зло.

Он решил уже давно, что уйдёт тогда, когда почувствует, что делает это не из эгоистических побуждений, не из желания с трудного пути сойти на более лёгкий; тогда, когда почувствует в этом желании уйти – *голос Божий*.

И когда в ту великую ночь он это почувствовал – он и

ушёл.

От кого «бежал» Лев Толстой¹⁷

Год тому назад, в ночь с 27 на 28 октября, Лев Толстой «бежал» из Ясной Поляны.

Событие это имело *мировое значение*, потому что только после своего отъезда Лев Толстой встал перед миром во весь свой гигантский рост.

Что же такое случилось?

Немногочисленные, но злобные враги Толстого издевались:

– Убежал, как собака... Издох где-то на станции... Туда ему и дорога.

«Бегство» Толстого – это одна из величайших побед человеческого духа над житейской пошлостью.

Почти тридцать лет тому назад Лев Толстой отказался от своего имущества в пользу семьи. Хотел уйти – уехать к духоборам. Но остался. Стал жить в Ясной Поляне.

– Пишет одно – а живёт по-другому, – слышались упреки.

Упрекали не только невежественные враги, но такие «властители дум», как покойный Михайловский¹⁸

Многие обращались к нему за материальной помощью.

¹⁷ Печатается по: Царицынская мысль. 1911. 28 октября. № 237. Подпись: Друг.

¹⁸ *Михайловский* Николай Константинович (1842–1904) – публицист, литературный критик, социолог; теоретик народничества. Резко критиковал теорию Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием.

Он отвечал: у меня ничего нет.

Ему не верили: ничего нет, а сам живёт, как граф. Даже друзья недоумевали: говорит, что жить в прежней обстановке невыносимо тяжело, а сам не уходит, остаётся в Ясной Поляне.

Люди не могли понять того, что стало ясно только после его смерти: Толстой не уходил потому, что ему было *легче* уйти, чем жить в прежних условиях, и он, несмотря на всеобщие упреки, продолжал нести более *тяжёлый* крест «семейной жизни», чем «лёгкий» крест уединения, который ему со всех сторон подсказывали. И Толстой ушёл только тогда, когда почувствовал, что уходит не по «слабости», не потому, что это облегчает его жизнь, не потому, что ему этого «хочется», – а когда всем существом своим понял, что *такова воля Божья*. Вся жизнь свою Толстой прислушивался к голосу Божьему в себе и учил других и сам старался жить, руководствуясь не своей волей, а волей Того, Кто послал людей в мир. По его собственным словам, долгие годы ждал он, когда этот голос велит ему порвать, наконец, невыносимо тяжкие условия семейной жизни и уйти из мира. Это и случилось в ночь с 27 на 28 октября.

* * *

Прошлую зиму, уже после смерти Льва Толстого, я с И. А. Беневским ездил в Ясную Поляну.

Могила в тихом, совсем «монастырском» лесу. И тихие «богомольцы», которые подходили к могиле, и узкие тропинки по рыхлому снегу, и серебряный иней на берёзах – всё так странно напоминало «скит»; не было только «старца»...

Какой-то мужичок подошёл к ограде. Перекрестился и сказал:

– Да, пожил бы ещё *дедушка*, кабы не простудился...

И взял кусочек земли: «с святой могилы».

На обратном пути, уже совсем ночью, мы заехали к Александре Львовне.

Там была в гостях «старушка Шмидт»¹⁹, – недавно у неё случилось большое горе: сгорел дом и масса бумаг, собранных ею за тридцатилетнюю дружбу с Толстым, письма его, рукописи. А вот теперь новое, страшное горе – умер Лев Николаевич.

– Я забыть не могу, – тихо говорит она, – как он последний раз был у меня с Душаном Петровичем: такое измученное лицо было... Господи, думала ли я, что последний раз?..

В маленьком флигельке Александры Львовны тепло, уютно, тихо. Тоже как будто в келье, и всё полно воспоминанья о «милом дедушке», о дорогом, безмерно любимом *человеке*.

Александра Львовна рассказывает:

– Я спала внизу. Вдруг ночью стук в дверь. Отворяю, смотрю: отец со свечой в руках. Лицо его положительно светилось. «Я еду, – сказал он, – помоги уложить вещи». Когда

¹⁹ *Шмидт* Мария Александровна (1843–1911) – друг семьи Толстых.

мы пришли с Душаном Петровичем (доктором Маковицким, уехавшим вместе с Толстым), – всё было почти уложено. Мы ждали этого давно, но окончательное решение было очевидно внезапным. Софья Андреевна спала за три комнаты от отца, и все двери держала открытыми настежь. Теперь двери были закрыты. Оказывается, отец закрыл их, и Софья Андреевна не проснулась

– Куда же хотел Лев Николаевич ехать? – спросил я.

– Или в Болгарию, или на юг, в деревню к одному другу крестьянину.

– Неужели он думал, что его «не найдут» и к нему не начнётся ещё большее паломничество?

– Предполагалось обратиться через газеты с просьбой «не искать».

– И с ним никого бы не было из друзей?

– Нет, я бы потом приехала и стала жить с ним.

Александра Львовна тихо улыбнулась и прибавила:

– Он очень меня отговаривал от этого: «Тебе будет трудно, ты со своим здоровьем не выдержишь такой жизни». А я спрашиваю его: «Ты в восемьдесят два года выдержишь, а я нет?» – Засмеялся...

Старушка Шмидт вздыхает и говорит:

– Вот уехал... И пожить не пришлось.

От кого же «бежал» Лев Толстой?

Разумеется, прежде всего от Софьи Андреевны и от той невыносимой для него жизни, которой она его окружила.

Когда-то Софья Андреевна была настоящая его «подруга жизни». Они вместе вели хозяйство, увлекались свиноводством, в экономии у Толстых было до 500 голов породистых свиней! Граф сам обходил хлевы и следил, чтобы каждый день их мыли. Графиня вела приходо-расходные книги, как редкий специалист приказчик.

Были дети. Было тихое «семейное счастье». Богатство, слава. Это ли ещё не «рай земной»?

Но Лев Николаевич опрокинул всё одним взмахом. Всё это счастье назвал ложью и обманом. Отрёкся от прежней жизни, сам пошёл пахать землю и сказал: смысл жизни не в славе, не в богатстве, не в семье, – а в том, чтобы исполнять волю Божию.

Софья Андреевна не пошла по новой дороге. И в Ясной Поляне началась двойственная жизнь. Медленная, мучительная трагедия. Внизу, к «дедушке» приходили люди «босиком», «братья» его, которых не пустят ни в один «порядочный дом».

Наверху лакеи в белых перчатках докладывали: «Ваше сиятельство, кушать подано».

Лев Толстой учил: вся земля Божия, грешно владеть ею. А черкесы, нанятые Софьей Андреевной, пороли крестьян за порубки в «барском лесу».

Софья Андреевна не переставала любить Льва Николаевича, но она не могла понять его и простить ему новой жизни. Для неё это была «блажь», «несчастье», обрушившееся на её семью, – и она буквально тиранила Льва Николаевича, сплошь и рядом доводя его до слёз и до обмороков.

Она по целым месяцам не допускала к нему Черткова. И довела Александру Львовну, любимую дочь Льва Николаевича, единственную «последовательницу» его в семье, до того, что та вынуждена была уехать из Ясной Поляны.

Лев Толстой «бежал» от Софьи Андреевны только тогда, когда почувствовал в себе нравственные силы по-настоящему *всё простить*.

Во-вторых, Толстой «бежал» от *друзей*. Они очень любили его. Они проявляли трогательную заботливость. Но они «снимали» каждое его движение, за спиною друзей вечно стояли фотографы и кинематографы, скульпторы и живописцы. Толстой был на *исключительном положении*. А ему хотелось быть *как все*. Ему не хотелось быть чем-то особенным. Всю эту шумиху вокруг себя он считал суетной и смешной.

– Великий писатель *земли русской*; почему не *воды*? Я никогда не мог понять этого, – шутил Толстой.

А подписывая бесконечное количество своих портретов,

смеялся:

– Кипит работа!

Бегство Толстого от Софьи Андреевны – было высшим проявлением его *примирения с людьми*.

Бегство от друзей – было высшим проявлением его стремления к *простоте*.

Лев Толстой (К годовщине смерти)²⁰

Лев Николаевич Толстой – самое полное, самое совершенное выражение духовной сущности великого русского народа²¹.

Не любить и не понимать Толстого – значит не любить и не понимать Россию.

Ещё Достоевский указывал на «всемирность» русского народа. На многогранность русского гения. На способность соединять в своём творчестве всё разнообразие отдельных национальностей.

Это свойство я бы назвал: *способностью к полноте жизни*.

В Толстом было что-то *ненасытимое*, какая-то неугасающая жажда вместить *всё*, изжить *всё*. Охватить разумом, любовью всю Истину, всю *жизнь*.

И двадцатилетним юношей, и восьмидесятидвухлетним старцем – он одинаково был способен на *новое, творческое*: в пятьдесят с лишком лет, когда люди обыкновенно считают

²⁰ Печатается по: Царицынская мысль. 1911. 6 ноября. № 245. Подпись: Друг.

²¹ Ср.: «Лев Толстой – великий символ русского народа во всём его многообразии, с его падениями, покаянием, гордыней и смирением, яростью и нежностью, мудрым величием гения, кои так непостижимо сплетаются в нашем народе» (*Нестеров М.* Письма. Л., 1988. С. 241).

жизнь свою оконченной, он, не задаваясь вопросом, сколько лет осталось ему жить, – начал перестраивать жизнь свою по-новому сверху донизу. И в восемьдесят два года – он с такой же смелостью и «молодостью» хотел начинать *новый* этап своего развития.

Недаром Толстой удивлялся: почему это люди относятся ко мне с уважением, как к «старцу», – когда я в душе чувствую, что, как был мальчиком, так и остался.

Жажда жизни у Толстого – это не то, что принято разуметь обычно под этим словом: желание испробовать все чувственные удовольствия. Правда, в молодости, до тридцати пяти лет, он вёл светскую жизнь: и кутил, и увлекался женщинами, – но даже и в этот тёмный период, о котором с чувством горького покаянного стыда вспоминал он всю жизнь, даже в этот период – подлинная жажда жизни не затихала в нём. По словам офицеров, служивших с ним в Севастополе, Толстой после кутежей делался мрачным и потом со слезами и безысходным горем каялся кому-нибудь из друзей в своих грехах.

Но дело не в этом. Жажда жизни Толстого была совершенно другого порядка.

* * *

Достоевский называл русский народ самым религиозным из всех народов.

Белинский – самым атеистическим.

Достоевский видел устремление русского народа «к небесному», его «искание Бога», «града невидимого». Жажду покаяния, подвига...

Белинский видел *земную красоту его*, стремление к *справедливости*, трезвое, прямое отношение к жизни, в искусстве – его тяготение к реализму.

Оба они были правы, но оба видели лишь одну сторону.

По моему глубокому убеждению, в душе русского народа земной рационализм и религиозность заложены в равной мере, без противоречий и без внутренней вражды.

Сам народ ещё не сознал этого, но это с поразительной яркостью видно на нашей интеллигенции. В ней нарушено *равновесие*, и потому составные элементы «психики» резко бросаются в глаза: ведь вся история нашей интеллигенции есть борьба двух начал – религиозного и рационалистического. То, что в народе «гармонично», в интеллигенции стало противоборствующими стихиями. То, что в народе главный источник *силы*, в интеллигенции обусловило её *трагедию*.

Толстой всеобъемлющей личностью своей выражает *полноту народной души*.

Небесное отразилось в его религиозности.

Земное – в его стихийной любви к земле, к «чернозёму», к природе.

Первое выражается в его «религиозной системе».

Второе – в его художественном творчестве.

По своим религиозным идеям, Толстой – аскет: «Жизнь есть сон, смерть – пробуждение», – вот основная черта его религиозных настроений, поскольку они выразились в философских схемах. Мы – странники, пришельцы. Чем скорей жизнь кончится – тем лучше.

Но Толстой сердцем своим любил земную жизнь, *не как сон*.

Прочтите воспоминания о нём близких людей. О его любви к природе, о его умении «всегда радоваться»²². Он не мог жить *без людей*. В художественном творчестве он необычайно *телесен*. Плоть земли – вот что понимал он больше всего. Отсюда его совершенный *реализм*.

В личной жизни Толстого небесное и земное также находило своё полное выражение.

Утром он шёл *один* – молиться Богу. В лес, на то самое место в густой берёзовой роще, где теперь находится его могила.

Молитва для Толстого была актом напряжённейшего самоуглубления, отчёт перед своей совестью в пережитом. Он приходил домой и *писал*. Его творчество было продолжением его молитвы. То, что открывалось ему в часы уединённого самоуглубления в лесу, – дома за работой принимало форму логической *мысли*.

А вечером он жил с людьми, *не в полусне*, а ярко, свободно, радостно, открытой русской душой.

²² 1 Фес. 5, 16.

Бывало, даже трепака плясал! Да-да! Не боясь быть уличённым «в противоречии» людьми в футляре, – заводил граммофон и под музыку Трояновского, под дружный хохот всех собравшихся, показывал, как пляшут «старики».

Русский человек умеет «разойтись», любит вольную волюшку, умеет, сломя голову, скакать на тройке.

Умеет и простаивать на одном камне по несколько лет, в посте и молитве.

Эти «эстетические» черты русского народа отразились в Толстом и его трогательном смирении, терпении, всепрощении.

Он искренно не понимал *своего величия*:

– Шумиха, которая меня окружает, – всё это пройдёт. А вот деятельность Фёдора Страхова – это вечно²³.

Ниже Фёдора Страхова себя считал!

– Вас большинство высоко ставит, – говорили ему.

– Да, это *повальное*, – с грустью говорил Толстой.

А на прогулках верхом Толстой любил мчаться во весь дух, чтобы ветви били в лицо, любил перескакивать рвы и ездить по неведомым дорогам.

От самых вершин своего творчества до повседневных мелочей – он был цельный, гениальный *русский* человек.

²³ *Страхов* Фёдор Алексеевич (1861–1923) – музыкант, философ, автор работ «Дух и материя», «Искание истин»; приверженец учения Л. Н. Толстого (ср. его сохранившийся отзыв: «Вся эта моя известность – пух!.. Вот деятельность Страхова... серьёзна, а моя... – никому не нужна и исчезнет»).



Когда Толстой был совсем маленький, он любил сидеть, зажав колени руками, – ему казалось, что если стиснуть колени изо всех сил, то можно *полететь по воздуху* и подняться на громадную высоту.

Эта детская мечта – это стремление к небесам – во всей полноте осуществилась только в последние дни перед его смертью.

Бегство из Ясной Поляны, астаповские дни, последние минуты перед смертью – всё это засвидетельствовало перед миром, что дети иногда бывают мудрее взрослых: люди могут подниматься к небесам!

Правда, для этого мало стиснуть колени – надо прожить восемьдесят два года. Но и прожить восемьдесят два года недостаточно: надо сохранить до глубокой старости *детскую* веру.

И тогда детская мечта, над которой нельзя не улыбнуться, станет великой жизненной *правдой*, перед которой нельзя не преклониться.

Победа над миром²⁴

Год тому назад, в ночь с 27 на 28 октября, совершалось великое событие: Лев Толстой тайно уехал из Ясной Поляны.

Уход этот принято называть «трагедией» – на самом деле это одна из величайших побед над миром.

Да, с точки зрения слишком человеческой, много трагического в «бегстве» Толстого от семьи, с которой жил почти пятьдесят лет, от условий жизни, которым подчинялся долгие годы. Видеть всё счастье в семье, уже стариком пойти по новой дороге и остаться почти одиноким. В течение двадцати лет жить, мучаясь непониманием своих близких, жены и детей. И, наконец, убежать от них. А через несколько дней умереть – всё это черты глубокой человеческой трагедии.

Но к Толстому неприменимы мерки житейские. Для того, чья жизнь была ежедневным, неустанным, неослабевающим исполнением воли Божией, – нужны другие оценки и другой язык.

Лев Толстой самую основную сущность своего поступка объяснил людям так: как истинный христианин под конец своей жизни я решил уйти от мира²⁵.

²⁴ Печатается по: Московская газета-копейка. 1911. 29 октября. № 249. Подпись: В. Свенцицкий.

²⁵ Свенцицкий основывался на газетных сообщениях (см. статью «Куда уехал Лев Толстой?»), искажавших текст прощального письма. Ср.: «...я не могу более

«Уйти от мира» – вот загадочные слова, которые время от времени, с большей или меньшей силой повторяются в истории человечества.

И на жизни Льва Толстого с потрясающей силой подтверждается истина, которую до сих пор люди не могут понять во всей глубине:

Всякий воистину уходящий от мира – побеждает мир²⁶.

Всякий уходящий от мира – возвращается в него победителем.

При жизни Толстого «в миру», несмотря на всю его «славу» и на всё «уважение» к нему, – между ним и людьми стояла такая перегородка. Перегородка «недоверия», «сомнений», скрытого «осуждения», снисходительного «прощения» и пр., и пр., и пр. Он был в миру и принадлежал миру не как победитель, а как «подчинённый».

И вот, 28 октября, когда весть о бегстве его разнеслась по всей земле, – свершилось поистине чудо. Преграда рухнула. И весь мир, всё живое в мире, всё чувствующее, всё страдающее болями совести, измученной грехами, – преклонилось перед Толстым, как перед праведником²⁷.

жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни» (*Толстой Л.* ПСС. Т. 84. С. 404); и годом раньше: «Хочется уединения, удалиться от суеты мирской, как буддийские старики делают» (*Маковицкий Д.* У Толстого, 1904–1910. Кн. 4. М., 1979. С. 35).

²⁶ 1 Ин. 2, 15–16; 5, 4–5.

²⁷ Ср.: «При вести о смерти Толстого вся Россия преклонилась перед ним как

С идеями Толстого можно не соглашаться, – но нельзя не быть учеником праведника.

И Толстой стал учителем всего мира²⁸. Ушедший от нас «тайно» – вернулся к нам в славе, – не житейской, суетной, «мирской», а непреходящей, божественной.

перед исповедником и мучеником христианства – и это несмотря на его собственное заявление, что вера в Христа как Сына Божьего есть не что иное, как кощунство» (*Стенун Ф.* Религиозная трагедия Льва Толстого // Л. Н. Толстой: pro et contra. СПб., 2000. С. 468).

²⁸ Ср.: «Бегство Толстого из мира есть единственное реальное поучение его нам. Но куда из мира уйдёшь, если нет катакомбы. Но нет: катакомба есть у каждого из нас: её нужно только сознать, расширить, превратить в место встречи» (*Бельий А.* Лев Толстой и культура // Там же. С. 599).

Венок на могилу Толстого²⁹

Принято говорить: «Великого человека не стало – а жизнь идёт по-прежнему».

Да, конечно: по-прежнему светит солнце, по-прежнему рождаются и умирают люди, по-прежнему «кипит жизнь».

Но что жизнь «не изменилась» – это глубокая неправда, происходящая от нашей собственной духовной слепоты, лишаящей нас возможности созерцать жизнь *во всём её объёме*.

Внешними переменами Толстой дорожил меньше всего. Он требовал внутреннего перерождения. Вот почему сегодня, в день годовщины смерти одного из величайших учителей жизни, я хотел бы отметить *внутреннее* значение его жизни и его смерти.

Это ложь, что жизнь после Толстого пошла дальше, по прежней дороге, как ни в чём не бывало!

Уход его из Ясной Поляны, беспримерная сила его религиозной воли и огненная жажда подлинной жизни «по-Божьи» – всё это осветило жизнь нашу тёмную и безумную таким ярким светом, что в сокровенной глубине нашей совести мы не могли не ужаснуться, «до чего дошли», – не могли хоть немного не начать жить по-новому³⁰.

²⁹ Печатается по: Трудовая копейка. 1911. 7 ноября. № 50. Подпись: В. Свенцицкий.

³⁰ Ср.: «Своим влиянием он оказал и оказывает положительное влияние в

Призывы «опомниться» пронесли над миром благодатным громом. И если по-прежнему идут войны, по-прежнему в жизни и кровь, и насилие, и разврат, – то это показывает лишь, что история мира – процесс мучительный и сложный и что «Царствие Божье» берётся упорным трудом человечества³¹.

Ведь когда на землю сошла сама Божественная Правда и люди, не приняв её, распяли на кресте своего Бога, – разве жизнь *сразу* стала другой?

Но если жизнь и смерть Сына Божия не изменила *сразу* человеческую жизнь, то можно ли спрашивать этого от жизни одного из достойнейших служителей Божиих?

Но христианство постепенно перерождало мир.

И моральное учение Толстого медленно вольёт в жизнь страдающего от грехов своих человечества много света, тепла и сил для борьбы.

Вот в годовщину смерти Толстого и хочется вспомнить с чувством глубокой любви и благоговения эту трудную работу Господню, которую он совершал как истинный апостол Божественной Правды³².

смысле общего пробуждения религиозных запросов. Оно уподобляется в этом смысле влиянию тех мыслителей древности, которые были «детоводителями ко Христу» («Булгаков С. Л. Н. Толстой // Там же. С. 410).

³¹ Ср.: Мф. 11, 12.

³² Ср.: «...то, чем ослепительно сияет для нас его душа, есть прежде всего два основных её свойства: безграничное правдолюбие и острота нравственной совести. Толстой – пророк, который не знает иных мерил, иных точек зрения и оце-

Лев Толстой и Вл. Соловьёв³³

Лев Толстой не понимал и не любил Вл. Соловьёва. Вл. Соловьёв не понимал и не любил Толстого.

Толстой говорил: опять пришёл Вл. Соловьёв и, наверное, будет читать какую-нибудь философскую неразбериху; и зачем этот человек тратит свои громадные умственные силы на такой вздор?

Вл. Соловьёв сравнивал христианство Толстого с сектой «дыромоляев», которые всю религию свели к очень простой молитве: «Изба моя, дыра моя, спаси меня»³⁴.

Не понимали, не любили, сходились и расходились всё резче и резче и, наконец, стали почти «врагами».

Так и общество привыкло думать: Толстой и Вл. Соловьёв – две непримиримые противоположности. «Толстовцы» и «соловьёвцы» также считают себя двумя враждебными лагерями.

Года три назад я, в качестве «соловьёвца», прочёл в Москве пять публичных лекций о Толстом. «Толстовец» Ив. Трегубов в ответ прочёл «разбор» моих лекций. И мы жестоко поспорили³⁵.

³³ Печатается по: Московская газета-копейка. 1911. 7 мая. № 104. Подпись: В. Свенцицкий.

³⁴ См. предисловие В. С. Соловьёва к «Трём разговорам...» (1900).

³⁵ Подр. см.: *Свенцицкий В. Собр. соч. Т. 2. М., 2010. С. 679–683. Трегубов Иван*

Последние годы, и особенно последние дни Толстого совершенно по-новому осветили его личность, и теперь «распря» двух величайших русских мыслителей представляется мне глубочайшим недоразумением, если хотите – трагедией современного религиозного сознания человечества.

Идея «вселенского христианства» слишком широка и всеобъемлюща, и многие служители *одной и той же идеи* считают себя *врагами* только потому, что с разных, иногда противоположных сторон видят одну и ту же истину.

Лев Толстой созерцал эту истину как *художник* даже в чисто философских своих произведениях.

Вл. Соловьёв созерцал её только как *философ* даже в своей поэзии.

Толстой всегда *изображает*. Его «учение» – это *описание* христианского *отношения* к жизни, к людям, к Богу. Вся сила Толстого в том, что он *показывает* христианскую психологию. О любви, о жизни во имя вечности, о проникновенном чувстве добра, о самоуглублении, о напряжённом искании Царствия Божия в своём сердце – вот о чём говорил Лев Толстой.

Всё его учение есть не что иное, как исповедь *христианского сердца*.

Когда Толстой начинал подыскивать этим переживаниям философские схемы, он сразу становился беспомощен и пу-

Михайлович (1858–1931) – последователь Л. Н. Толстого, издатель бесед И. А. Чурикова.

тался в противоречиях.

Вл. Соловьёв – философ в настоящем смысле этого слова. Он наметил грандиозную, хотя и незаконченную и местами необработанную философскую систему. Он дал философское *оправдание* добра. Его произведение – это раскрытие христианского *сознания*.

Лев Толстой не мог простить Соловьёву, что он вместо религии занимается «философией», не учит, а пишет головоломный «вздор».

Вл. Соловьёв не мог простить Толстому плохой философии.

Великое христианское сердце Толстого и великий христианский ум Вл. Соловьёва не поняли и «не нашли» друг друга.

Замечательно, что главнейший пункт несогласия и идейной вражды – это учение о воскресении Христовом!

На это у нас мало обращали внимания в литературе. Когда-то в «Вопросах философии и психологии» был напечатан отрывок из письма Соловьёва к Толстому – в этом письме он по пунктам и ребром ставит вопрос о воскресении³⁶. Что ответил на письмо Толстой, неизвестно. Я лично спрашивал В. Г. Черткова об этой переписке, и он также об ответе Толстого ничего сказать не мог. Но и так ясно, что Толстой мог ответить одно: воскресение Христово – легенда.

³⁶ Имеется в виду письмо Л. Н. Толстому от 28 июля 1894 (Вопросы философии и психологии. Кн. 79; Письма В. С. Соловьёва / Под ред. Э. Л. Радлова. Т. 3. Спб., 1911).

Соловьёв же доказывает, как видно из письма, теперь целиком изданного Радловым, что воскресение Христово – это победа смысла над безмыслицей.

Разница, как видите, так велика, что трудно говорить о сродстве двух мыслителей.

Но и здесь Толстой, отрицая «как философ» воскресение, любил живой образ Христа, относился к нему не как просто к «учителю», а так же, как и Соловьёв, и никогда бы он не согласился в душе отречься от имени христианина, хотя бы всеми учёными мира было доказано, что Христос учил совершенно тому же, что и Будда, и Моисей, и т. д.³⁷

И Толстой, «отрицавший» воскресение Христово, и Вл. Соловьёв, не проповедовавший то, что, по мнению Толстого, должен проповедовать каждый христианин, – были братьями по духу, разное мыслили, одно любили.

Оба они провозвестники вселенского христианства³⁸.

³⁷ Ср.: «Хотя Толстой не верит в божество Христа, но Его словам он поверил так, как могут им верить те, кто видел во Христе Бога» (*Зеньковский В.*, прот. История русской философии: В 2 т. Париж, 1989. Т. 1. С. 400); «В Толстом это подсознательное знание, что Христос был воистину Богом, было не так сильно, как в мистике Кириллове, но всё же, думается, оно в нём было» (*Степун Ф.* Указ. соч. С. 468).

³⁸ Ср.: «...объединяются они <...> *общей религиозной задачей*, которую каждый из них решал по-своему: это – практическая жизненная задача *осуществления Царствия Божиего на земле*. <...> Будучи полнейшими антиподами в других отношениях, <...> оба были убеждены, что Царствие Божие должно стать всем во всём человеческом обществе. <...> Оба они искали Царствия Божия и правды его; оба они поняли его как всеединство, в котором человек должен без остатка принадлежать Богу» (*Трубецкой Е.* Спор Толстого и Соловьёва о государстве //

Правда любви³⁹

Сестра Льва Николаевича Толстого, монахиня Мария Николаевна, перед смертью приняла «схиму»⁴⁰:

Окончательно ушла от жизни.

Лев Толстой перед смертью ночью уехал из Ясной Поляны:

Окончательно ушёл от мира.

Церковь предала Толстого анафеме.

Толстая приняла высший монашеский чин «схимонахини».

Но *сущность, религиозная основа веры* и у Льва Толстого, и у Марии Толстой – *одна и та же*⁴¹.

В одном из писем к Александре Андреевне Толстой Лев Николаевич писал:

«...Ваше исповедание веры есть исповедание веры нашей

³⁹ Печатается по: Новая Земля. 1912. № 17/18. С. 7–8. Подпись: В. С..

⁴⁰ Толстая Мария Николаевна (1830–1912) – монахиня Казанской женской пустыни в Шамордино с 1891, схиму приняла за несколько часов до смерти (см. о ней: *Оболенская Е.* Моя мать и Лев Николаевич // Л. Н. Толстой. М., 1938. С. 323).

⁴¹ Ср.: «Он, отрицавший в корне всякие обрядности, и она, строгая монахиня, – молились одному и тому же Богу, понимая и чувствуя Его одинаково» (*Толстой И. Л.* Некролог // Новое время. 1912. 12 апреля. № 12960). В октябре 1909 Л. Н. Толстой писал сестре, что надеется смерть «встретить с благодарностью Богу за данную мне жизнь и с полной уверенностью в то, что Бог есть любовь» (Новый мир. 1991. № 7. С. 8).

церкви. Я его знаю и не разделяю. Но не имею ни одного слова сказать против тех, которые верят так. Особенно, когда вы прибавляете о том, что сущность учения в Нагорной проповеди. Не только не отрицаю этого учения, но, если бы мне сказали: что я хочу, чтобы дети мои были неверующими, каким я был, или *верили* бы тому, чему учит церковь? я бы, не задумываясь, выбрал бы веру по церкви. Я знаю, например, весь народ, который *верит* не только тому, чему учит церковь, но примешивает ещё к тому бездну суеверий, и я себя (убеждённый, что я верю истинно), не разделяю от бабы, верящей Пятнице, и утверждаю, что мы с этой бабой совершенно равно (ни больше, ни меньше) знаем истину. <...> Всё это я говорю к тому, что бабу, верующую в Пятницу, я понимаю, и признаю в ней истинную веру, потому что знаю, что несообразность понятия Пятницы, как Бога, для неё не существует, и она смотрит во все свои глаза и больше видеть не может. Она смотрит туда, куда надо, ищет Бога, и Бог найдёт ее. И между ею и мною нет пред Богом никакой разницы, потому что моё понятие о Боге, которое кажется мне таким высоким, в сравнении с истинным Богом так же мелко, уродливо, как и понятие бабы о Пятнице. <...> И как я чувствую себя в полном согласии с искренно верующими из народа, так точно я чувствую себя в согласии с верой по церкви и с вами, если вера искренна и вы смотрите на Бога во все глаза, не сквозь очки и не прищуриваясь»⁴².

⁴² Письмо от февраля 1880 (Толстой Л. ПСС. Т. 63. С. 6–7).

И «проклятый» Лев, и благословенная Мария – одинаково смотрели на Бога «во все глаза». И Бог, веруем, нашёл их обоих. И то, что разделяли здесь, на земле, люди на «анафем» и «схимонахинь», – уже не сможет разделить их *там*⁴³.

Жестокий «смирренный оптинский старец» Иосиф запретил Марье Николаевне не только *молиться* об умершем «окаянном» Лье, но даже *думать* о нём⁴⁴.

Но он не мог запретить сердцу её *любить* и душе «веро-

⁴³ Ср.: «Между Толстым и людьми Церкви одновременно существовало и сильнейшее отталкивание, доходившее до взаимной вражды, и вместе с тем безотчетное притяжение, какая-то близость. <...> Беспристрастное сознание не может относиться к «еретику» Толстому как к «язычнику и мытарю», т. е. как к совершенно чужому для Церкви. Даже и отлучённый, Толстой остаётся близок к Церкви, соединяясь с ней какими-то незримыми, подпочвенными связями. <...> И, думается мне, это чувство не приходит в противоречие с духом Церкви и любви церковной» (Булгаков С. Указ. соч. С. 408, 410); «Было бы неправильно ставить границы для любви, и если враги духа Толстого всё же любят его личность, то это – тем лучше» (Франк С. Указ. соч. С. 545–546).

⁴⁴ Свендицкий узнал о запрете («не только молиться, но и думать не должна») из статьи «Кончина М. Н. Толстой» (Русское слово. 1912. 10 апреля. № 83). Ср.: «Очень тяжёлое испытание перенесла тётя Маша, когда старец Иосиф, у которого она была на послушании, запретил ей молиться об умершем брате, отлучённом от церкви. Её непосредственная душа не могла помириться с суровой нетерпимостью церкви, и она одно время была искренно возмущена. <...> Марья Николаевна не смела послушаться духовных отцов, и вместе с тем она чувствовала, что она не исполняет их запрета, потому что она всё-таки молится, если не словами, то чувством. Неизвестно, чем кончился бы у неё этот душевный разлад, если бы о. Иосиф (Это сделал после его смерти другой духовник. – С. Ч.), очевидно понявший её нравственную пытку, не разрешил ей молиться о брате, но не иначе, как келейно, в одиночестве» (Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1969. С. 249–250).

вать», смотреть «во все глаза» на единого Бога – и эта вера, и эта любовь сильнее запретов оптинских старцев; любовь и вера соединит их, разъединённых здесь, на земле, людьми и церковью – для вечной жизни в Боге – в любви⁴⁵.

Знамя. 1910. № 11. С. 152–168; Наши современник. 2010. № 11. С. 242–261.

Публикация и комментарии: С. В. Чертков

⁴⁵ 22 апреля 1911 монахиня Мария писала: «Я надеюсь, за любовь его ко Христу и работу над собой, чтоб жить по Евангелию, – Он, милосердный, не оттолкнёт его от Себя!» (Там же. С. 247).